

ЕЩЕ О СМЕРТИ ПУШКИНА

I

Смерть великого человека, явившаяся неожиданно, вызывает на размышления. Что такое произошло? Он ли тому причина, окружающие ли, *Провидение* ли — об этом мы спрашиваем при виде неожиданной смерти обыкновенного человека, просто при виде факта раскрывшегося зева «пожирательницы людей». И этот вопрос становится длительнее, упорнее, когда тот же зев неожиданно поглощает великого, дорогого, нужного. «Куда? Зачем?» это мы произносим горестно и бессильно, когда не можем произнести единственно нужного: «постой!»

Когда литература лишается *двух* величайших гигантов своих *одним* способом, равно неожиданно и безвременно, мысль о роковом и страшном невольно закрадывается в ум. «Тут кто-то *шалит*», «это кому-то *надо*», «кто-то *уносит* у нас величайшие сокровища», и слова: «судьба», «немезида», «рок», эти затасканные и все-таки оставшиеся в памяти человеческой имена, невольно шепчет язык. Море никак не хотело принять Поликратора перстня; то же море, какое-то мистическое море, обратно от нас требует «драгоценных перстней». Ну, бросили один — нет, мало. «Поганое место». Я хочу сказать, что когда в одном и том же месте реки эту весну утонул один мальчик, на следующий год — другой, мы восклицаем: «поганое место», «нечистая тут сила». Непонятно. Страшно. Не хочу подходить к этому месту, хочу обойти это место.

В ужасно смешной (в *предметом* отношении, в отношении к Пушкину и его смерти) статье «Судьба Пушкина» г. Влад. Соловьев попытался доказать, что это не «нечистый» унес у нас Пушкина, а ангел; что это не «поганое место», где тонут мальчики, а «святое место», «место святого упокоения невин-

ных детей». В век, когда люди только *по книгам* помнят Бога, а не в живом ощущении, они прежде всего начинают смешивать «черта» и «Бога». Человек погиб. Мальчик утонул. «Кто это?» — «Это — Бог!» — «Нет, это — черт». Грешный человек, я следую в этом случае маловозрастным мальчикам и вместе с ними шепчу о потерянном их товарище: «Это — *нечистый* унес его», и все тут «погано», «страшно», «неодолимо».

...Если бы им была дана
Земная форма, по рогам и платью
Я мог бы сволочь различать со знатью.
Но дух — известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух
И мысль без тела — часто в видах разных;
Бесов вообще рисуют безобразных.

Это неприятное и жуткое ощущение, которое через 50 лет, конечно, становится глухо, но у современников и очевидцев события, вероятно, было сильно, рассеялось несколько и у меня, когда в № 21-22 «Мира иск.» я прочел о смерти Пушкина прекрасную статью П. П. Перцова. «Ну,— сказал я себе,— больше не буду думать о Пушкине. Тут все так просто разъяснено, так правильно (в фактическом отношении) и правдиво (в моральном), что и возвращаться к вопросу нечего. Человек взглянул не *ангельским* и не чертовым взглядом на события, а как простой, добрый и нравственный человек. Он не искал быть *гениально-умным* в объяснениях, не говорил себе: «Ну, тут-то я и пофилософствую»,— и нашел истинную философию в объяснении все-таки загадочного и трагического события. Мистическое не отвергнуто им, но оставлено как *тень добавления* около действительных событий и отношений в жизни поэта, и самая жизнь эта в отношении к *теме* не передана как ряд эмпирических данных, но как цепь полуправильных, полуэстетических, полуфизиологических событий, словом, «дух и тело смешаны (в статье) в надлежащей пропорции».

Это впечатление было нарушено резким ответом предыдущему автору — нового. («Еще о судьбе Пушкина», г. Рцы. № 1-2 «Мира искусства», 1900 г.). В сущности, г. Рцы *сбивает* все объяснение на первое и самое раннее, которое было дано уже в незаметном лермонтовском *уроке* Пушкину:

И он погиб и взят могилой

*Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам безбожным,*

Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?

С этим объяснением совершенно совпадают центральные слова в статье г. Рцы: «Не клади, Сашенька, пальчика в огонь. Ах, хочу! Ну, тогда больно будет. Хочу Петербурга (курс. автора). Ну, тогда тебе не избежать и логики Петербурга (опять его курс.), тогда судьба твоя роковым образом вовлечется в цепь следствий и причин, породивших самый Петербург с его прошлым обществом, былыми нравами, героями того времени — Дантеами... Мы сами себе (его курс.) даем пощечины. И мы глубоко верим, что если бы Пушкин опомнился, понял невозможность человечески (его курс.) спастись, если бы он упал на колени с горячею мольбою: Господи, спаси меня! Вот польстился я на пустую петербургскую ливрею, и вот позорят жену мою, и очаг мой, и дом мой, и нет прибежища душе моей,— наверное (курс. его) спасся бы».

Тут есть немножко и соловьевского объяснения («поехал бы на Афон»), и обыкновенного, даже самого либерального объяснения («надел ливрею»), и, словом, неясно-деликатные упреки Лермонтова переложены во что-то мещанское (да простит автор мне упрек этот): «Он носил ливрею, когда ему нужно было петь «на седьмой глас»: «Господи, воззвах». Очевидно, ни на Афон Пушкин бы не поехал (гипотеза Соловьева), ни «воззвах» не стал бы и не хотел читать,— ибо не таково было настроение его души, и правда его души, и факт его души в это время грусти, смятения, гнева. О, господа, ведь есть логика и у страсти, и не думайте, что права и свята логика только «посмертных рассуждений», но и при жизненных страстей логика может быть свята. Я верю, что Пушкин *вспыхнул* правдою — и погиб; что он был прав и свят в эти 3—5 предсмертных дней, когда

Восстал «во блеске власти»

— но он действительно, как объясняет г. Перцов, был неправ 3—5 предсмертных лет, и... «все произошло так, как должно было произойти».

Я счастливый муж, любящий; у меня все исправно в дому.— за моей женой ухаживают.— Сделайте милость! Рассказывают об ее успехах:

Вот, братец мой, потеха!
Ей-ей умру.
Ей-ей умру,
Ей-ей умру от смеха.

В «Графе Нулине» Пушкин это отлично выразил в заключительных стихах:

Когда коляска ускакала,
Жена все мужу рассказала
И подвиг графа моего
Всему соседству описала.
Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вам! — Почему ж?
Муж? — Как не так. Совсем не муж.
Он очень этим оскорблялся,
Он говорил, что граф дурак,
Молокосос; что если так,
То графа он визжать заставит,
Что писами он его затравит.

Все это очень важно, все это очень на кого-то похоже; но самое важное и, так сказать, центральное — в последних двух строчках:

Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет!

Когда «муж» и «любовник» совпадают, тогда гомерический, чудесный гомерический хохот покрывает и Дантеса, и Нулина, и «женихов» Пенелопы. «Дом мой — твердыня моя: кого убоюся?!» Не совершенно ли очевидно, что суть пушкинской драмы заключалась... о, не в Наталье Николаевне,— а в том, что Пушкин не имел в собственных данных фундамента спокойствия и уверенности, чтобы сказать с Улисом и Лидиным: «Дом мой — твердыня моя: кого убоюся!»

Попытка Нулина, может быть, имела бы совершенно другой исход, этот другой исход возможен, он *психологически и даже метафизически мыслим*, если бы около нее не было «23-х летнего Лидина». А теперь *она* — крепость от Нулина и всякого, т. е. чистосердечие *ее* смеха с Лидиным (ведь не в одиночку же он смеялся!) исключало со стороны последнего решительно всякое подозрение и подозрительность, и он никогда бы не забороматал, не заскрежетал:

Молокосос! и если так,
То графа я визжать заставлю!

Очень нужно! Очень нужно вызывать на дуэль. Почему же затревожился Пушкин? Веселый насмешник, написавший Нулина и Руслана, вещим, гениальным и простым умом он *почуял*, что если «ничего еще нет», то «психологически и метафизически уже возможно», уже настало время ему самому испить черную чашу и вместе весь непререкаемый и фатальный комизм Черномора ли, старушки ли Наины... о, ведь дело не в

летах именно, а в седине и даже дряхлости опыта, хотя бы и в 35 лет:

Прошла моя, твоя весна,
Мы оба постареть успели.
Но, друг, послушай: не беда
Неверной младости утрата.
Конечно, я теперь седа,
Немножко, может быть, горбата,
Не то, что в старицу была,
Не так жива, не так мила.
Зато,— прибавила болтунья,—
Открою тайну — я колдунья!

Точка в точку с великою и вещею мудростью поэта, с его универсальным умом, что для 16-ти лет может представиться «умом колдуна», весьма мало говорящим сердцу девушки. Ее вниманье — совсем иное будет, чем его речи:

Мое седое божество
Ко мне пылало новой страстью.
Скривив улыбкой страшный рот,
Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признанье:
«Так — сердце я теперь узнала.
Я вижу, верный друг, оно
Для нежной страсти рождено;
Проснулись чувства, я сгораю,
Томлюсь желаниями любви...
Приди в объятия мои...
О, милый, милый, умираю...»

И что же ответил Финн, когда-то сам и первый полюбивший Наину, т. е. стоявший к ней в неизмеримо ближайшем, по возрасту и главное по опыту, расстоянии, чем поэт к своей невесте, и потом жене:

Я трепетал, потупя взор!

Что делать — это роковое! А ведь вешун-Пушкин, колдун-Пушкин все видел, все знал, «на три аршина под землею» он видел не только в 35 лет, но и в 25, когда писал «Руслана» и «Нурина», и в последнем эти насмешливые строки:

Она все мужу рассказала...
Всему соседству описала.
Смеялся — Лидин!

Увы, так. Но поспешим к нашей задаче, оставляя иллюстрации. Не было совершенного чистосердечия и «гомеровского

хохота» в ее рассказах Пушкину о Данте. Не тот смех, не та психика. Смеется, смеется, и вдруг глаза поблекнут.— «Ну, продолжай же, Наташа! Так ты его...» — «Ну, хорошо, уж поздно: доскажу завтра». Речи недоговаривались, смех *не раскательвался*; так — улыбнется, *мертвенно улыбнется*.— «Да что ты, Наташа?» — «Ничего, утомлена. Я рано встала». И вечно утомлена.— «Верна?» — «Конечно!!» — «Довольна?» — «Довольна!» — «Счастлива?» — «Счастлива!» — «Не упрекаешь (меня)?» — «Нет». — «Детей любишь?» — «Люблю». — «Но поговори же, но расскажи же: так ты этого молокососа...» — «Ну, оборвала, ну, и только, и спать хочу, и дети нездоровы, и завтра надо рано вставать...»

Она совершенно нравственна или, пожалуй, «корректна» в отношении к детям и мужу, и... и... не распинайте же вы ее и не требуйте, чтобы она *вдруг* запела песенку над ребенком:

Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю...

Ничего у нее грешного. Но здесь и кончено все. Она не согрешает. Но ведь вы требуете *святого*, как положительного, вы ищете небесной поволоки глаз, взамен мертвенной улыбки ожидаете воздушного смеха:

Проказница младая,
Насмешливый потупя взор
И губки алые кусая,
Заводит скромный разговор
О том, о сем. Сперва смущенный,
Но постепенно ободренный,
С улыбкой отвечает он. (Нулин на другой день)

Вдруг шум в передней...
«Наташа, здравствуй!»
— Ах, мой боже!
Граф, вот мой муж!»

Ну, ради Бога, объясните вы все, распинающие «плоть»: откуда взят этот «отрывок» бытия, серебристый звон голоса, когда его *нет!* Просто — *нет!* А ведь Пушкин психолог и понимает, что когда этого — нет, то вообще ничего нет между ними, кроме довольно скучного, *скучающего «общего ложа»* и привычной, конечно, милой, но не восхитительной столовой. Серебро — общее; посуда — общая; пожалуй, интересы — общие, и, конечно, знакомые. Но *не общий смех*:

...Потупя взор
И губки алые кусая...

Это — не к нему, не к Пушкину обращено; могло бы обратиться к «Лидину», а за неимением его — вообще *отсутствует*.

Да — нет, и только. Нет смеха; но вы требуете добродетели?! Плохие психологи. Пушкин им не был. Начертав эти стихи, он, конечно, конечно, понимал, что... ничего-то, ничевохенько общего между ним и женой — нет и что тут — не *ее* вина (слова его о ней в день смерти: как он ее ценил!), а уж если и есть чья, то, после Бога, устроившего законы мира и бросившего солнце в свой путь, луну — в *свой же другой*, то еще вина — *его, Пушкина*, не нашедшего в мире своих путей или не пошедшего по своим путям. Да, как Перцов объясняет, — «вина» Пушкина, и именно здесь — в сфере «своего дома».

Пушкин был решительно груб с «Наташей» (да будет прощена дерзость так ее называть). Он мог гениально ее ценить, но создать и *выжать из себя* форм обращения и быта, бытъя, «житъя-бытъя» с той, о которой он записал *первые, ранние* впечатления:

Все в ней — гармония...
Все — выше мира и страстей:
Она *покоится стыдливо*
В красе *торжественной* своей,
Она кругом себя взирает —
Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный круг
В *ее сияньи* исчезает

— он не сумел.

В письме к жене, приведенном г. Рцы, Пушкин заговорил несколько как мастеровой. Пусть читатель перечтет письмо, справится.

«Наташа» получила письмо. Села, грустно откинулась назад. И уж не знаю, в какую минуту, но мы слышим из спаленки девушки, — увы, и в замужестве девушки:

Любви роскошная звезда,
Ты закатилась навсегда!

Да, и в замужестве девушки! Дайте договорить мысль! Она только фактически стала супругой и матерью, а поэтически и религиозно так и замерла, *умерла* девушкой. Ведь совершенно очевидно, что если есть поэзия и религия

...святыня красоты

в девстве и *девственнице*, то должна была настать и святость супружества, святость материнства:

Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю!

«Я не знаю, я не понимаю, я неопытна, однако тоже, перепразднируя стихи поэта,

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я хотела бы обитель:

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одну картину я б хотела вечно видеть:
...Чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель,
Она — с величием, он — с разумом в очах,
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона».

Она могла этого не написать, но она могла это почувствовать и даже, так сказать, *практически к этому приуготовиться*; как он мог *написать*, но вот *практически-то* к этому приуготовиться и *не мог!* Не тот тон. Совсем другие речи. И в основе всего — просто не тот возраст и не то «прошлое, прошлое!» — которого «не вернуть!». Пушкин в 16 лет написал — и с странным, страстно-нежным тоном в заключительной строке — «Леду», — сюжет, который, ей-ей, я узнал и он мне пришел в голову за 30 лет! Таким образом, этот маленький «Эрос», который мы называем Пушкиным, «зрелым» почти родился, и дальше все «зрел» и «перегорал».

«Конечно, она не виновна. Но, виноват... мир, Бог, Данте, Геккерен, «ибо я так чрезмерно страдаю», «так мне дурно»... Она обо мне не думает; я о ней всечасно думаю и почти перестал писать стихи, разучился писать (последний, какой-то *пустынный* фазис деятельности Пушкина), ибо все та же мысль сожгла, пожрала меня. Молюсь — и не вижу «образа». Он не отвернулся, а просто поблек, *умер в линиях*, ушел куда-то внутрь».

Г. Рцы, приведя указанное выше письмо, пишет: *Чудные* отношения (везде его курсивы). Дай Бог каждому из нас найти такой *верный* тон, так гениально суметь избегнуть приторности, сантиментальности, прикрыв грубоватою корою товарищеских угловатостей эту чарующую нежность, эту сердечность, эту ласку... Он ее не любил!! Или она его? Да Ромео и Юлия так не любили друг друга, как *могли* любить друг друга Пушкины в браке, *оставайся только несчастный поэт в Москве* (последний курсив мой)... и т. д. Строки до известной степени драгоценные, ибо именно так рассуждал, вероятно, не раз рассчитывая свое счастье по пальцам, Пушкин.

Дело в том, что тон письма Пушкина, действительно чудный и «Ромеовский», не есть «Ромеовский» *универсально*, но только *резко определенной, узкой полосы бытия* нашего, кото-

рый и для Гончаровой должен был настать и, по-видимому, настал со вторым мужем, и она ему была «твердыней», успокоеною и счастливой; но с Пушкиным, в 17—22 года, не настал. Она имела *свой* тон, *свои* струны «Ромеовского» счастья, по которым не мог и не умел ударить... поэт.

Тут только и можно разобраться, «вознеся руку на сердце», ибо «законно» и внешне, как равно критически и литературно, мы, все, конечно, решим «по Пушкину» и «для Пушкина». Но ведь что в *нашем-то*, этаком решении? Ведь он, участник драмы, жалкое ее лицо — вещун, он — вешний.

— «Я же верна тебе,— ну что же еще».

И она заплакала. Скажите, ради Христа, в какой закон и в какое Евангелие вы впишете эти слезы, или, пожалуй, из какого Евангелия или от какого Христа вы возьмете окрик, или даже просто *упрек* — этим слезам. «Я плачу, ну и только». «Ваша — и никуда не бегу». Пушкин заметался. О, тут кто-то... судьба, Бог, Дантес, Геккерен, но я должен, мне нужно убить, потому что я так ужасно страдаю, мне так трудно, и *неисцелимо трудно*. Убить и даже... убивать, убивать; или — умереть. Он умер. Конечно, это легчайшее.

II

«В чем дело,— пишет г. Рцы,— Пушкин *переступил* через чужую жизнь? Пушкин, как Мазепа, *заклевал голубку* — какую? Свою собственную жену... Что за притча? И в каком смысле *заклевал*? А вот в каком. Для Наташи, для бедной (несчастная московская барышня, очевидно, судьбой предназначенная по крайности для действительного статского советника), для бедной Наташи все были жребии равны. *Еще* равны... (центральная, совершенно справедливая мысль г. Перцова). Она еще никого не любила, не доспела, но потом, отлежавшись, как груша хороших поздних сортов, могла полюбить, а тут Пушкин, коллежский секретарь Пушкин, некстати подвернулся...»

Чудак. Он пишет: «Этак у каждого из нас, проживши мирно десяток лет, жена вдруг нальется соком и станет вздыхать по *суженом, настоящем*, которого она проглядела, не дождалась».

Какое рассуждение; ну, и в самом деле, пусть жена «начала вздыхать»: как же муж *прервет* эти вздохи? Увы, брак не был бы «тайством», если б он не был «членом веры». И вот, когда верующий,— о, не изменяет своему символу, но *вздыхает*, как я, как, может быть, он, как Лютер в 22 года, о какой-то далекой, новой, возможной вере, в условиях поблекшей настоящей, что же, г. Рцы и этот *религиозный вздох* прервет!? Нет, он этого

не сделает. Но не то ли же самое и в таинстве, которое мы рассматриваем, где так же, как и в вере, в религии, в догматике, вздоха прервать нельзя и вздох прервать преступно. Да просто — нельзя (нет средств, сил)!

Какой-то всеобщий страх у г. Рцы — суетен, неоснователен.

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя

— это повторит тысяча мужей о своих «старухах», не променивая их стоптанных башмаков на новые модные туфли; мужей, говорю я,— но также это скажет и тысяча жен. Пушкин — не «Мазепа», который «заклевал»... Вот именно Мазепа-то и не заклевал:

Не серна под утес уходит,
Орла послыша тяжкий лет;
Одна в сенях невеста бродит,
Трепещет и решенья ждет.

Это — Мария Кочубей ожидает приговора родителей, когда седоусый гетман приехал формально ее сватать:

Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и старца строгий вид.
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты
Влекают страстные мечты.
И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:
Она забыла стыд и честь,
Она — в объятиях злодея...

Не отпустил отец, сама ушла. Что делать — так!! Так было спокон веков и так останется, пока «три кита» не вывернутся из-под земли; и, наконец, так бог благословил. Но почему же если Мазепа, то *все-таки не* Пушкин? Это вы прочтите у Лермонтова о Каспии:

•

о, старец — *Mope.*

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий стихнул, будто спит...

Не правда ли, в стихах Лермонтова — будто психология Мазепы, в его притворных письмах к Петру. А вот, у него же, и в той же дивно краткой поэме, и эпизод с Марией Кочубей, во всех деталях:

«Слушай, дядя, дар бесценный:
Я примчу тебе с волнами
Труп казачки молодой
С темно-бледными плечами
С светло-русою косой».

И старик, *во блеске власти*,
Встал, могучий как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.
Он взыграл, веселья полный,
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.

Тысяча романов в действительности — на подобный сюжет; и Наташа Гончарова, за 2—3 года до встречи с Пушкиным (совершенное отрочество), легко могла бы сбежать к какому-нибудь петербургскому Мазепе, совершенно так же и с теми же последствиями, но никогда бы не сбежала к Пушкину. Мазепа... старый бандурист, коего песни до сих пор не забыты Малороссией, строитель церквей, тряхнувший — да как! — Малороссией, и забурлившний около своего имени Россию, Швецию, Польшу. Пушкину бесконечно хотелось съездить за границу, но он... так-таки никогда и не решился сесть на пароход без паспорта. Этот несносный Бенкendorf — потому и несносный, что Пушкин никак не умел от него освободиться. Вот уж *не* Каспий... Что же ему сравниваться с Мазепой в линии данной темы. Да он и был для 16-летней Наташи Гончаровой тем «действительным статским советником», хлопотавшим у правительства разрешения издавать журнал,— к которому ее приревновал г. Рцы; а Мазепа и был, по его же терминологии,— «Он»... Ну,— Он, «Озирис», «Зевс»...

... Дух — известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух.

По всему описанию видно («Полтава»), и, конечно, так и было в действительности, что не Мазепа хотел Марии Кочубей: он только заметил ее, позволил ей, а *ринулась*-то она сама к нему и, пожалуй, действительно к Нему. Седой усач; поэт — но *в меру* (Пушкин — без меры); какие речи! какой взгляд! И — седина, седина; «ветхое деньми». Тут не у одной Марии закружилась бы голова... И, главное, великий и страстный политик, молитвенник, художник, Мазепа и в 63 года был свежее и чище, был более похож на Иосифа Прекрасного, чем Пушкин, далеко отошедший от Иосифа в 16 лет («Вишня»). Да, целомудрие старости — обаятельно, и у Марии, а могло бы

быть и у Наташи Гончаровой, закружилась голова. И решительно она не закружилась от Пушкина, который, в отношении к данной теме, так ужасно походил на «действительного статского советника», с положением и связями, восходившими до Бенкendorфа. Но известно, что у генералов, военных и статских, бывают счастливые адъютанты, и вот в Данте Пушкин почувствовал, заподозрил, имел психологический и метафизический фундамент заподозрить такого счастливого «адъютанта», «помощника 23 лет Лидина», и, словом... Феба, Эсмеральда и Феб. Вы помните «Собор Парижской богоматери» и там этот странный, горестный (до слез) роман. Эсмеральда — само упоение; ею упилась Европа; она увидела (кажется, ни слова не сказала) кавалериста Феба, которому Гюго даже не дал никакого собственного имени, до того он был безличен. Эсмеральда поблекла. Забыла свою козочку. Вот тут пусть г. Рцы рассудит и бросит в Эсмеральду тот камень, который он бросает в Гончарову. Зачем Эсмеральда полюбила Феба, а не того угрюмого, ученого, гениального монаха, который полюбил ее почти страстно-нежно и безнадежно, как Пушкин — Наташу. Да, зачем?! Пусть учит г. Рцы — он умен; я же только и могу припомнить: «И к мужу — влечение твоё» (Бытие, 3). Да, «к мужу» и «влечение», т. е. «муж» и есть этот «Каспий», «море», «Озирис», Феб, Данте, уже потому «роковые», что их ни обойти, ни объехать. Погибла Эсмеральда, погибла Кочубей, могла бы погибнуть Гончарова-Пушкина. Но, с другой стороны — погиб тот желчный монах («Соб. Пар. богоматери»), погиб Пушкин, может погибнуть Рцы, я, наш читатель. И, вообще, это любопытно, что где-нибудь, то там, то здесь, но *вечно* «бог семьи и брака» требует и получает себе дымящуюся человеческую кровь. Ужасно, но факт.

Ужасно, непостижимо. Сейчас я разъясню это. Конечно, можно представить, как по-видимому мечтает г. Рцы, что человечество можно было бы, поломав как лучинку, разместить попарно, и что не было бы ни страданий, ни расхождений, ни приключений. Но «лучинки» бы не рождали! Я хочу сказать, что в тот миг, как «кровавые заклания» (на этой почве) окончательно прекратятся на земле — человек перестанет рождать. Я не могу постигнуть, почему и как, но чувствую, что *рождение ребенка* требует «жертвы», без нее не будет беременности и того, о чем писал и к чему готовился Пушкин, возвращаясь домой. Попробую еще объяснить. Шампанское — играет; если бы оно не играло, не пенилось, оно было бы смиреннее и не рвало пробку, не разрывало проволоку и иногда не брызгало вам в лицо, а при неосторожности — не ранило бы вас осколком стекла в

лицо, в руку. Но тогда оно было бы водой, без игры, пены и ран... Идея г. Рцы, испуг его «как мужа» есть в сущности жажды смириТЬ женщину и... тогда она потеряет силу, не будет рождать, как Татьяна в скорбном своем романе:

К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялись ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале; и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать, но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar.

А дети? Что вы мне суете «старушек, которые ей улыбались», кавалеров, которые ей «почтительно кланялись», когда идет жена,— и я спрашиваю: а где же ее дети? Вот что забыл Пушкин, рисуя свой «милый идеал», и о чем забыл, что кощунственно выкинул из головы Достоевский, в знаменитом анализе «Пушкинского и русского идеала женщины»? О, любители безкровных жертв, взамен древних, ягнячьих, голубиных,— как иногда можно ненавидеть вас и ваше!..

В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

Ведь, плакать хочется,— не знаю, как читателю, но мне хочется.

Она спросила:

Давно ль он здесь, откуда он (*Онегин*)
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд...

Страшен этот «усталый взгляд»! Сегодня усталый, завтра усталый, следующий год усталый. Ох, «устала»; кто-то поддержит? Нет держащего. И Пушкин, и Достоевский — оба отказались. Пушкин устал от Бенкendorфа, Достоевский устал от бедности и либералов.

С Татьяной — никого. Только старушки покланялись на рауте.

Устала Татьяна. Братья-люди, да ведь вы же устаете? почему же только жена не может устать?

Поэт, усмири волны свои и любезно рассмейся, низко поклоняясь Бенкендорфу. «Низко поклоняюсь?!» Но позвольте, ведь Татьяна куда-куда больше «низких поклонов» должна отдавать тому, кто ей чужд и на нее не похож, как на вас Бенкендорф?.. И почему же то, от чего гиганты силы заскрежетали зубами, Пушкин, Достоевский, или мы, средненькие, Рцы, я, только для «бедной Тани» под силу? Но ведь на самом деле так. Ведь Таня тоже мечтала:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсила бы я смиренную обитель...

И почему, почему, когда Бог отнял у женщины гений письма, когда она не слагает пушкинских строф, не дает ни рафаэлевских рисунков, ни музыки, как Моцарт, ни побед, как Наполеон,— почему, как Давид в могуществе своем отнял у соседа Урии его «последнюю овечку», вы отнимаете «единую славу» у нее: детскую и спальню, семью и настоящего мужа. У Урии — только Вирсавия. У Давида — царство, слава, арфа и псалмы. У Татьяны, Натальи — только возможность приласкать, но уж любимого человека, а тут явился воин, богач, в ласках царских, в исторической славе, или явился поэт, купающийся в волнах народной молвы:

— «Ну, вот, Наташа, Татьяна, теперь тебе есть муж».

Татьяна уступила. Наташа уступила.— «Да, мне все равно!» И усмехнулась.

Но перервем, оставим.

Конечно, Пушкин был виновен перед Гончаровой, и потому, что он не понял необходимости глубокого индивидуализма семьи, без чего она есть квартира, но не есть «дом» в лучах религии и поэзии. «Святой дом» — вот чего до очевидности ясно не выходило у них.

Пушкин, и тысячи,— между ними Достоевский,— воображают, что пол есть функция, а не мистическое лицо в нас, второго, ноумenalного порядка, и что как можно составить по произволу меню для *table d'hôte*'а*, так же можно мистический узел семьи, мистическую душу семьи, ангела семьи образовать на почве искусственного согласия, формального соглашения на «общение в этой функции». Ангела нет. Души нет. Семьи нет. Ничего нет, есть только то, о чем условливались: функция. Она — в слезах, он — в бешенстве; или — она в терпении, он —

* Общий стол (франц.).

в унынии. Да что же случилось? Да нет лица, не вспыхнуло ангельское между ними лицо. Вы говорить можете со всяkim из 1 200 000 петербургских жителей; обедать — не со всеми, но по крайней мере с тысячами из этого миллиона; но читать книгу?.. О, тут индивидуальность суживается: Пушкин не может читать с Бенкендорфом, — ему нужно Пущина; Достоевский не может, пусть дал бы обещание, «обет», «присягу», целый год читать романы и прозу, стихи и рассуждения со Стасюлевичем; я не мог бы читать «задушевно и со вкусом», со всяkim; может быть, не мог бы со всяkim читать и Рцы. Вышло бы не «чтение» с засосом, вышла бы алгебра, читаемая Петрушкою, и которую, кроме Петрушки, на этот раз слушают Стасюлевич и Достоевский. Но почему мы говорим с 1 200 000, обедаем — с 200 000, читаем — с 20?! Потому что «разговор», «трапеза», «чтение» — все одухотворяются и одухотворяются, становятся личнее и личнее, интимнее и интимнее. Но общенье в предполагаемой функции супружества — насколько же оно интимнее, таинственнее, сокровеннее и главное, главное личнее, не говорю — разговора или еды, но и чтения?! Читать вечно только с Петрушкой,— нет, тут обломилась бы «кошачья живучесть», которой гордился в себе Достоевский. Итак, секрет и тайна раскрываются: «читать» можно только с немногими; но, как думать можно только с собою, и при такой думе вспыхивает гений, поэзия,— так гений и поэзия семьи вспыхивают тогда, когда есть единство субъективного лица в кажущихся двоих.— «Ну, давайте думать вдвоем, я и Рцы». Правда, «братья Гонкуры» писали «вместе» романы, но эти романы были плохи, они не были «Войною и миром» или «Карениной». Попробуемте «сочинять вместе» «Преступление и наказание»?! Хороша вышла бы каша. Каким же образом семью, которая, как произведение, конечно, выше гением и мистицизмом «Преступления и наказания» и «Войны и мира», можно, «согласившись», «начать сочинять вдвоем». Тут нужно, чтобы бог согласил, т. е. семью, которая немыслима без двух. Эти двое тогда ткнут, когда их устроил бог в одно (одно лицо). Великие поиски семьи,— то, что я, петербуржец, нахожу свою «судьбу», положим, не в нашей улице, не в нашем городе, в при случайной и единственной поездке в Сибирь,— отсюда вытекают, и из подобных фактов ясно, что это божеское единство двух есть вообще проблема, случай, загадка, но никогда не произвол. «Я женюсь, и вот будет семья». Ничего подобного. Ведь вас двое, а семья именно там, где есть «одно». Вот устранение этих-то «двоих» и есть мука, наука и, конечно, непостроимая наука семьи. У Пушкиных все было «двоё»: «Гончарова» и «Пушкин». А нужно было, чтобы не

было уже «ни Пушкина», ни «Гончаровой», а — бог. Пушкин метнулся; Рцы говорит: «Ведь они были повенчаны». Я же спрашиваю, где Бог и *одно*?! Совершенно очевидно, что это «Бог и *одно*» у них не существовало и даже не начиналось, не было привнесено в их дом. Что же совершилось? Пусть рассуждают мудрые. История рассказывает, что вышла кровь; трудно оспорить меня, что Бога — не было и что гроза разразилась в точке, где люди вздумали «согласно позавтракать», тогда как тут стояло святилище очень мало им ведомого бога. И, конечно, старейший и опытнейший был виновен в неуместном пиршестве, и он один и потерпел.

1900 г.